

Николай СМИРНОВ
г. Тула



ВАРАКША



Если вы захотите из любопытства заглянуть на мою родину, убедительно прошу вас этого не делать. Дорог к нам никаких нет. Люди, как и тысячи лет назад, ездят и ходят просто по земле, по лесам и болотам. В райцентре Шабалино любой шофер охотно согласится подкинуть вас и до Котельнича, и до самой Вятки, и даже до Костромы, но если вы заикнетесь о Варакше, он только смачно сплюнет да пятиэтажно выругается. Правда, иногда в случае крайней нужды в район посылают леснического шофера Ваську Достовалова на допотопном, давно списанном «газоне». Но бывает это крайне редко. Да и Васька для храбрости вусмерть напивается и, пока держится за баранку, — едет. Но если машина заглохла и надо вылезать с кривой заводной ручкой, то тут же и падает как убитый.

— Васька, черт! — кричу ему однажды. — Как же ты едешь эдакой пьянехонький?

А он хохочет:

— Да ты глянь, Колька, глянь! Разве можно по эдаким бучилам терезовому ездить! А заль-

ешь шары-то и катишь, как по американскому автобану.

Варакша наша расположена большим треугольником на стыке трех областей, что, безусловно, было удобно разбойникам, от которых и пошел наш буйный народ. Некоторые историки, конечно, в этом сомневаются, но лично я охотно верю. У нас даже в бабах до сих пор бушует эта разбойничья кровь. В других местах они всегда стараются разнять драку, а у нас наоборот: сами становятся плечом к плечу с мужиками и бьются до потери сознания хоть с ветлугаями, хоть с ветченятами, хоть с костромичами.

До революции на Варакше насчитывалось полсотни лесных деревушек, починков и хуторов со столицей в селе Атаманово: Колодешники, Трясуны, Мякинники, Сыроеды, Лапотники, Сутяжники, Чашобники, Мудозвоны, Гончары, Гужееды — эти названия говорят сами за себя. Другие же населенные пункты требуют некоторых пояснений.

Челобитники — эти всю жизнь молятся. Корова отелилась — молятся, картошку градом поби-

ло — молятся, дом загорелся — все равно молятся, вместо того, чтобы тушить.

Шампиньонщики. Эти когда-то ходили на сплав до Нижнего Новгорода. Там после расчета забрели в ресторан и, поскольку грибы в наших местах ничего не стоят, в целях экономии на закуски и потребовали грибов. И шампиньоны им так понравились, что они съели все, что были в ресторане, а потом, когда им предъявили счет, у них и заработанных денег не хватило.

Собашники. Испокон веку разводят и продают собак. Даже картошку не сажают, не говоря уже о какой-нибудь полезной скотине. По праздникам связывают этих собак за хвосты и наблюдают, чей конец деревни перетянет. На эти соревнования сбегалась вся Варакша. Кончались они так же, как и теперешний футбол, — дракой.

Простодырники — эти, говорят, верили всему, что услышат, как нынешний электорат. Если им говорили, что африканские негры напали на Россию, они тут же являлись в Атаманово во всеоружии: с сулебами, пищалями, кистенями и ружьями. Если им говорили, что в ихний починок на днях приедет митрополит, тут же принимались белить печи, выметать мусор из часовни и застилать улицу половиками.

Балаболышки. Ну, эти, если бы сохранились, вполне могли заменить всех наших юмористов, а ихний староста вполне мог по болтовне потягаться с самим Жириновским.

Трясуны — в отличие от простодырников, решительно ни с кем не хотели воевать и перед мобилизацией всегда прокалывали уши спицами, отчего многих и трясло...

И, наконец, — Голожопники. Его жители снимали штаны, по пояс заходили в болото и ждали, когда присосутся пиявки. Потом вылезали на сухое место, отдирали этих пиявок, складывали в стеклянные банки и увозили на Ветлугу или в Кострому в аптеки.

Но, несмотря на такое множество селений, у нас на Варакше все родня. В какой-нибудь вятской или костромской деревне на тебя и внимания не обратят. Но как только ты пересек границу и ступил в варакшинский хутор или починок, встречающая востроглазая бабка тут же взглянется в твое лицо, словно художник в картину большого мастера, и, всплеснув руками, воскликнет:

— Ба-аюшки! Да ведь это Бадеренков внук! Погли-ко, глазом-то так и стригает, так и стригает, будто цыган али мазурик какой... Ну, дак заходи, заходи, покормлю чево бох послал...

Или:

— Матушки мои! Никак Хохряченок к матке в Атаманово правится. Глянь-ко, Параня, вся статья Митрея Захарова и походка дедова. Жива ли Хохрячиха-то? Ежели жива, дак передай-ко ей медвежей желчи. Уж больно она ее просила, когда я в Атаманово-то ходила...

И ни одну нашу бабку не смутит ни модный костюм, ни прическа, ни даже то, что родился ты даже где-нибудь позаваракше.

Были у нас и такие селения, где народ говорил на таком древнем, закомуристом языке, в котором посторонний человек и половины слов не поймет. Бывало, спросишь меду у какой-нибудь бабки:

— А кма ли тебе надо меду-то? — спрашивает она.

— Ну, давай хоть полкмы, — в шутку отвечаешь ты.

Бабка удивленно таращит глаза.

— А сколько это полкмы-то?

— А кма сколько?

Наконец бабка соображает, что перед ней не кто иной, как настоящий варакшенок, и просто разыгрывает ее, и возмущается:

— Еще и изгаляется над старухой. Иди, лешов дьявол, и за деньги не дам!

Если посмотреть на карту, то у нас можно обнаружить всего два-три крупных селения. Остальные не числились нигде. Землеустроители неоднократно пытались нанести их на «планты», но безуспешно. Одна такая экспедиция заблудилась, и ее до сих пор не найдут, вторую лесник Онуфрий завел, как Иван Сусанин, в гиблые обобошные болота. А третья опять же заблудилась, и донельзя отошавшие, обросшие диким волосом участники ее вышли куда-то к Ветлуге...

После революции отдельные активисты начали было крушить хутора, но их вскоре перестреляли. Постреляли и нескольких присланных из района председателей колхозов, после чего охотников связываться с варакшенками уже не нашлось. С тех пор Варакшу окрестили семнадцатой республикой, и ни Кировская

область, ни Горьковская, ни Костромская не желали ее видеть в своем составе и постоянно перепихивали из одной в другую. Так что многие наши люди до сих пор толком и не знают, в какой области родились. И я в том числе...

Правда, в самой столице Варакши селе Атаманово после войны сколотить колхоз все же удалось, но вскоре районное начальство убедились, что нашим людям по менталитету ближе все-таки зверье. Создали звероферму. Скормили зверью весь колхозный скот, после чего зверье частично разворовали, а частично выпустили на волю. Сами же помещения фермы, вольеры и контору, как у нас и принято с испокон веков, сожгли. Заодно сожгли и сельсовет и опять стали налегать больше на лесозаготовки, охоту, грибы и ягоды, чем на пустую подзолистую землю.

А к руководству Варакшей опять приступил батюшко Абросим — возможно, самый либеральный поп в мире. Он вместе с мужиками валил лес и, чтобы не надрывать лошадь по пенькам и кочкам, на плече выносил к дороге шестиметровые бревна, словно жерди. На сплаве один снимал плоты с мелей и перекаатов, а в Нижнем Новгороде в цирке, раздевшись до кальсон, валил одного за одним профессиональных борцов. Пил тоже вместе с мужиками. В церкви непослушного мог хрястнуть по башке кадиллом. Мог обвенчать парня с девкой, но если та окажется не девкой, то тут же и развенчать по первому требованию жениха и повенчать с другой. Крестил детей, но если родне потом имя не нравилось, то запросто мог и перекрестить. А по праздникам, если наших мужиков начинали одолевать ветлугаи или ветчененки, смело становился впереди и с криками «Сарынь на кичку!» бросался на врага и так молотил своими пудовыми кулачищами во имя отца и сына и святого духа, что враги так и рассыпались горохом.

Выползов починок

Мой родной починок назывался Выползов, потому что со всех сторон он окружен такими топами, что в них постоянно тонул скот, сдергивали со шкворней телеги и тарантасы, да и теперь, наверно, «новые русские», приезжающие на охоту на своих внедорожниках, подолгу

щупают в грязи полусгнившие бревна старых мостов и лежневок. Завидовала нам вся Варакша: к выползяткам не только уполномоченный, а сам леший не проберется.

Но мы, конечно, знали, где и как безопасней из починка выползти, а потом заползти обратно. Родился я не в самом починке, как это записано в метрике, а километрах в трех от него под елкой в лесу, куда мать моя с бабушкой ходили за рыжиками. И жизнь моя сразу началась с несчастья. Для того чтобы донести меня до дому, бабушке пришлось высыпать на землю целое лукошко рыжиков, о чем она сокрушалась потом до самой смерти. Я же молчал всю дорогу, и все решили, что я, слава богу, не жилец на этом свете. Не тут-то было! Дома на печи я заорал так, что всполошил весь починок. Прибежала ворожея бабка Дарья, взяла меня на руки и всю мою родню разочаровала:

— Живучой, дьявол! Погли-ко, у его и глаз, как у таракана, светится.

С тех пор меня так в починке и прозвали: «тараканий глаз», хотя сколько я потом этих тараканов ни рассматривал, никаких глаз у них не обнаружил.

Как с неприятностей все началось, так и пошло через пень-колоду. Повезла меня мать на салазках в соседний починок, чтобы сфотографировать и отправить фотографию на фронт отцу, которого, говорят, я перед отправкой обоссал, но я вывалился по дороге в сугроб. Мать этого не заметила, поскольку везла еще полмешка картошки, чтобы заплатить фотографу за работу. Меня подобрал какой-то старик на лошади и, решив, что дите выкинули специально, стал возить по чужому починку с тем, чтобы меня кто-нибудь усыновил. Но кому я был нужен! Бедная моя мать, обнаружив пропажу, сбегала туда и обратно и бесчувственная валялась в том доме, где меня должны были фотографировать. Наконец, объехав весь починок, старик решил всучить меня фотографу, справедливо решив, что тот попутно увезет меня в район, а уж там и решат, что со мной делать дальше...

Тут-то я наконец и нашелся. И орал потом три дня, требуя птичку, которая должна была вылететь из фотоаппарата. Орал, может быть, и дольше, если бы бабушка не подобрала на дороге за-

мерзшего воробья и не заткнула им мне рот.

— На, супостат, подавись ты этой птичкой!

Потом я с такою же наглостью ходил за ней, вцепившись в юбку.

— Баба, да-ай леденчик. Баба, да-ай леденчик.

Наконец она с грохотом открывала кованный медью сундук, долго рылась в одеждах и совала мне в рот леденец.

— На, аделище ненасытное, подавись! Последний отдаю! От лешего да от нечистой силы можно хоть молитвой отойти, а от тебя ничем не отойдешь...

Но я точно знал, что леденец у бабки не последний, и через пять минут опять тянул, вцепившись в ее юбку и не отставая ни на шаг:

— Ба-а, ну дай еще. Ба-а, да-ай же...

Потом я стал слепнуть и, возможно, ослеп бы совсем, если бы не мой закадычный дружок Санька Забродин. Я обнаружил у бабушки в подвале горшок со сметаной и стал поедать ее потихоньку, приспособив вместо ложки щепку. И вот однажды бабушка за ужином возьми да и скажи как бы невзначай: кто много ест сметаны, тот может ослепнуть. И можете себе представить: у меня вскоре защипало глаза, как будто я съел несколько луковиц. Потом потекли слезы и все вокруг стало расплываться. Всю ночь я не спал, а утром побежал к Саньке узнать: если ослепну насовсем и на оба глаза, то будет ли он водить меня за палку, как Митю Слепого с Баранова хутора водит его жена Пелагея.

— Ду-ррак! — твердо заявил Санька. — Врет твоя бабушка. Это с голодухи можно ослепнуть, да и то частично, а от сметаны никогда!

Вскоре, правда, этот Санька едва меня и не погубил. Я объелся репой, и меня так схватило, что ничего не помогало: ни соль, ни полынь, ни трава толоконка. И Санька решил мне на брюхо поставить банки. Но поскольку банок во всем починок не было, он прилепил мне огромный глиняный горшок, подержав в нем горящую бересту. Поначалу все пошло хорошо и даже приятно. Боль прошла, но горшок затягивал мой живот все сильнее и сильнее, и вскоре привалила такая боль, что прежняя мне показалась вполне терпимой и даже ничтожной.

— Снимай! — заорал я Саньке.

Тот бросился ко мне, ухватился за горшок и начал меня катать сперва на кровати, потом на

полу. Но горшок уже не отрывался. Все мои внутренности засосало в него, и я уже вроде бы почувствовал, как рвутся на мелкие обрывки мои кишки. Долго это продолжалось или нет — не помню. На мои вопли сбежался весь починок, но оторвать от меня горшок не смогли, сколько вместе с ним ни волочили меня по избе. В конце концов, кто-то все же догадался разбить его то ли молотком, то ли поленом...

В общем, много всяких страданий перенес я уже в детстве, а потом, как вы увидите, и того больше. Моя старшая сестра Томка-няня, играя в лапту, привязывала меня мешковиной к себе на спину и хотя бегала лучше всех, самодельный тряпичный мяч с зашитым внутри камнем-голышом то и дело попадал мне то в голову, то в задницу. Орать было бесполезно: сестра настолько увлеклась игрой, что не обращала на меня никакого внимания. Правда, настолько развилась за счет меня, что потом, когда училась в Вятке в медучилище, в течение четырех лет была чемпионкой области по бегу на любые дистанции.

Однажды мы с Санькой поймали в лесу медвежат и понесли их домой в берестяных пестерях с тем, чтобы вырастить и продать в Вятку в зоопарк, но уже около самого починок нас догнала медведица, в клочья изодрала наши пестери и увела медвежат в лес. Нас, правда, не тронула, но испугала, конечно, до поноса.

Пробовали мы делать глиняную посуду, но при ее обжиге сожгли баню. Некоторое время мы были даже миллионерами, обнаружив в бабушкином сундуке целый рулон керенских денег. Но нас, как и всяких миллионеров, одолела жадность, и мы отправились в соседний починок, где наши сверстники точно на такие же деньги играли в очко. Но вернулись оттуда и без денег, и с красными соплями.

Одно лето подрядились пасти починовских коз, но, поскольку они все время лезли в огороды и не давали нам купаться, сделали в лесу загон и до вечера держали их в этом загоне, пока они не обгрызли все жерди и не перестали доиться.

Однажды после охоты начали чистить дедушкино ружье и забили в него шомпол так, что ни назад, ни вперед. Сообразительный Санька зарядил целый патрон порошу, ружье привязал к огороду и за нитку из-за бани спустили курок. Шомпол выбило, но ствол разор-

вало на три части, а ложу вообще нигде не нашли.

Мог бы, конечно, и еще кое-что порассказать, да как вспомнишь, какими трепками все это кончалось, так и руки опускаются.

Нечистая сила

У нас на Варакше каждая деревня, каждый починок и хутор перед лицом батюшки Абросима за что-нибудь отвечал: кто за сбрую, кто за телеги и сани, за колодцы, за глиняную посуду, за сети, за ульи, за тес, за стулья и табуретки, за лосиные петли, за деревянные бочки, за холсты и так далее. И только за лесозаготовки, за сплав и добычу живицы головой отвечали все. И не приведи бог, когда у нас по весне на эту живицу начинали собираться в Ветлугаевы боры. Шуму, гаму на всю Варакшу! Сначала целый день колеса от телег искали. Потом, когда телеги наконец собрали, начали сбрую искать. Нашли сбрую, но она оказалась непочиненной. Бросились за дратвой да хомутными иглами. Дратву нашли, а хомутные иглы оказались в соседнем Новозаводском починок. Их туда еще в прошлом году шорнику Миките отдали. Побежали туда, но вернулись ни с чем. Выяснилось, что наши тоже в прошлом году взяли у них ведро с колесной мазью и две бороны и до сих пор не вернули. Ведро с колесной мазью кое-как нашли, а бороны оказались уже не у нас, а в Поповом починок. Побежали в Попов починок и тоже вернулись ни с чем. Там сказали, что, пока мы им не вернем сани-розвальни, они нам бороны и не подумают отдать. Сани нашли у кого-то в сарае, но у них не оказалось ни оглобель, ни заверток. Сделали оглобли и завертки, погрузили сани в телегу, привезли в Попов починок, но тут обнаружилось, что не те сани-то привезли. У поповских-то и копылья шире, и полозья железом обиты, а у тех, что привезли, ни того, ни другого. Еще день потеряли, пока не нашли поповские сани у Васи Мезеря за овином. Наконец все-таки отправились, а нас, всю нетрудоспособную мелкоту, оставили на попечение бабки Прасковьи, которая настолько нас запугала нечистой силой, что мы и носу из ее избы высунуть боялись. Да мало того, за

это самое запугивание заставляла Саньку еще писать письма своей дочери, которая, как говорят в починке, живет в Москве, держит губки «бантиком» и носит юбку «колоколом».

Вот сидим мы все по лавкам, а письму ее конца-края не видать.

— Про Тимохину-то корову написал? — спрашивает бабка Прасковья, заглядывая Саньке через плечо. — Сбесилась, мол, корова-то от травы-дурману да и убегла в лес, дак всем починок ее три дня искали.

— Да написал уже. Еще чего? — нетерпеливо спрашивает Санька.

— А про Грибаниху? Померла, мол, на девятом десятке, но еще бы, мол, жила, ежели не обрюхнулась в обабошном болоте в грозу.

— Про это не писал.

— Ну дак вот и пропиши. Мол, гроза такая навалилась около Ильина дня, што так и думали: всем смертонька пришла...

Прикусив кончик языка от напряжения, то и дело обмакивая ручку в пузырек с чернилами из сажи, Санька торопливо вкривь и вкось пишет на листке синей оберточной бумаги большими печатными буквами.

— Ты бы гумагу-то разлиней, — подсказывает бабка.

— Сам знаю.

— Экой ты какой, — ворчит Прасковья, — никак старуху уважить не хочешь.

— Да ты не перебивай, а то и вовсе писать не буду. Вишь, опять спутался...

— Ну-ну, не буду, пиши знай.

Бабка Прасковья отошла было от стола, но, что-то вспомнив, вернулась обратно.

— Пропиши, мол, картошку посадила, брусники и клюквы ныне будет мало.

— Да писал уж про это! — все более раздражаясь, выкрикнул Санька. — И про бруснику твою писал, и про Катюхиного Мишку, и про картошку, и про дрова!

— А про колодец-то забыл? Сруб-то, мол, в колодце совсем сгнил, дак матка твоя к Тимохе по воду-то ходит...

— Писано и про колодец, сто раз писано!

— Ну, коли так, кланяйся да зови на Покров в гости.

— Кланялся уж! Сколько же можно кланяться! — совсем вышел из себя Санька.

— Али кланялся? — с удивлением спросила бабка.

— Кланялся! Кланялся! — загудело по лавкам.

— Вот погляди, ежели не веришь! — Сунул Санька под нос бабке письмо и стал водить пальцем по строчкам. — Во, видишь: от перегорященской Анютки, от крестной Шуры, от Варвары, от золовки Веры...

Наконец бабка взяла письмо, еще на всякий случай поднесла его к лампе, оглядела со всех сторон, заклеила недоваренной картофелиной в конверт и сунула за божницу.

— Ну, про чо вам сегодня рассказывать? — спросила она, увернув лампу. — Опять про нечистую силу али чо?

— Давай ври про нечистую, — согласился Санька, — да позакovyристей.

— Мне врать — не деньги брать.

Бабка проворно забралась на печь, с которой свешивались до самого пола старые половики, ватники и какие-то драные поддевки, улеглась там и, выставив из-за занавески голову, попросила не очень уверенно:

— Шурик, может, лампу-то еще увернуть бы, а то уж карасину-то больно много идет.

Санька недовольно хмыкнул и сделал вид, что уворачивает фитиль в лампе. Мы все поудобнее расселись на лавках и на полу и замерли.

— Ну, сказывать ли? — спросила бабка, зажмутив глаза и беззвучно шевеля толстыми губами.

— Сказывай. Сказывай, — слышались не терпеливые голоса.

— Про Савелия, мужика свово, сказывала ли, нет ли? — задумалась Прасковья.

— Как на медведя ходил, что ли? — подозрительно спросил Санька.

— Не-е, за кладом-то...

Все отрицательно повертели головами.

— Давай про клад! — приказал Санька. — Да только не усни, как прошлый раз.

— Сном дорожки не изъедешь, — ответила бабка, крестясь и позевывая. — Пошел он, значит, Савеле-ет, дай бох царства небесного, за имя на Вознесенской неделе, а клад-то в Федюнином перелеске лежал...

— Ты, бабка, не ври, — перебил ее Санька, — откуда там клад-то, ежели там коров пасут?

На Саньку зашикали. А бабка, не обращая на него внимания, продолжала:

— Знать-то про то, конечно, в починке все знали, только брать-то боялись, потому как схоронен он был с нечистой силой. Но мой-то Савелий ничего, не боязлив был, пошел. Пришел в перелесок-то, а в то время тамо лес стеной стоял. Высокий лес-то — в небо дыра. Нашел место...

Санька открыл было рот и опять хотел что-то спросить, но его толкнули в бок.

— Нашел, стало быть, место-то, — повторила бабка, — и стал копать.

— Место-то как нашел? — не выдержал Санька.

— Место-то? — переспросила бабка. — Место известно было: три елки да дуб сухостойный, под которым Полканову телушку волки задрали... Да ты бы не встречал, Шурка, не сбивал бы меня, памяти-то и так не стало...

— Ладно, рассказывай.

— Ну, копает он, стало быть, копает, матушки вы мои, и вдруг робость на него сошла. Уж так, говорит, сробел, што и голову от ямы-то поднять боится. А тишь-то в лесу, как в омуте, и темно, матушки вы мои, хоть глаз коли... Ему бы в этот момент молитву сотворить надо было, а все молитвы-то и перезабыл. Ну, все же собрался кое-как с силушкой-то да и полез было из ямы. Тут-то она, матушки мои, как хряснет, как хряснет, да и заиграла, да и покатила по лесу-то. Воссияло в лесу-то, да и темней прежнего стало, а она, матушки вы мои, катится да играет, катится да играет...

— Кто играет-то? — боязливо спросил слабый духом Гараська.

— Ну, знамо кто, нечиста-то сила, — перекрестившись на икону, отвечала бабка. — Клад-то разбойниками с нечистой силой схоронен был, али же я вам об этом не обсказывала...

За окошком давно опустилась ночь. В наступившей тишине слышно только, как где-то далеко в лесу ухаёт филин да поскрипывает на ветру у дома дяди Михея колодезный журавль. За нашими спинами шевелятся жуткие косматые тени.

— Ну, а дальше-то чо? — испуганно тихим голосом спрашивает Гараська.

— Дальше-то? А пришел он уже под утро, Савелий-то, весь белый, как гумага, а шапка-то

на голове у него так и шевелится, так вот, матушки вы мои, и шевелится.

— Да отчего шевелится? — спрашивает кто-то.

— Знамо от чего, от страху.

— Ну и чего потом?

— А стал он вот с той поры заговариваться да и помер вскорости, дай бох царства небесного. Ишо-то баять? А то ведь темно на улице-то, спать надо бы...

— Давай, давай еще, — приказал Санька. — Письмо-то вона какое я тебе накатал.

— Пирогоа поели бы...

— Пирог само собой.

Бабка подумала, почесала рукой спину и спросила:

— В Трясунах Ваню Глухого знаете?

— Знаем, — ответил за всех Санька.

— А трясет его отчего?

— Говорят, уши себе спицей проколол, на войну идти побоялся.

— Ну, это уж вру! — взвился Гараська и даже вскочил с лавки. Ваня приходился ему каким-то родственником.

— Вот-вот, — обрадовалась Прасковья неожиданной поддержке, — мелешь ты, Шурка, незнамо што.

— Ну, врите дальше оба, — сказал, усмехаясь, Санька и пошел на кухню за пирогом.

Бабка Прасковья, воспользовавшись этим, несколько раз всхрапнула, но друг мой был начеку.

— Ты рассказывай, рассказывай, не хрен храпеть-то...

Прасковья тяжело вздохнула и завозилась на печи, укладываясь поудобней.

— Рассказывай, чего он врёт! — выкрикнул Гараська.

— Пошел, значит, он однаво тоже за кладом-то, Трясун-то, как мой Савелий, а за ним откуда ни возьмись маленькая-маленькая собачка. Эдакая юрковитая и все у него под ногами крутится: мешает, стало быть, за кладом-то идти. Ну, Иван-то возьми ее сдуру-то да и хлобыстни сапогом. Вот тут-то его, матушки вы мои, вызняло да и понесло по лесу-то... Три дня таскало, а на четвертый нашли его лесники под кокорой за сорок верст у самой Ветлуги.

— Ну, уж ты тут, бабка, совсем того, — засме-

ялся Санька, — чо она тебе, самолет, чо ли, твоя нечистая сила? Как же она его таскала?

— За волосы таскала, вот как! Он после этого и заикаться стал! — опять вскинулся Гараська.

— Врешь! — убежденно заявил Санька.

— Нет, не вру!

— Врешь!

— Сходи в Трясуны и спроси!

— И спрашивать нечего, трус твой дядя — и вся недолга.

Гараська, красный как рак, набросился на Саньку. Началась потасовка. Сторонников существования нечистой силы оказалось намного больше, и неизвестно, чем бы закончилась схватка, если бы в самый разгар ее кто-то не заорал:

— Робя! Бабка-то уснула!

Санька выбрался из кучи и подбежал к печи. Бабка Прасковья действительно спала, похрапывая, присвистывая и сладко причмокивая губами. Санька бесцеремонно толкнул ее в бок. Она что-то промычала, повернулась на другой бок и захрапела уже на всю избу. Санька в сердцах сплюнул и передразнил бабку:

— Вызняло, покатилося, покатилося. В башке у нее покатилося...

И убил запятую...

Нет, не бывать бы мне в том году школьником. Во-первых, мне и шести еще не исполнилось, а во-вторых, война: ни скинуть, ни надеть нечего. Всей и одежды было на мне — бабушкина кофта в горошек.

Ну, а уж если всю правду сказать, то не только мне и хотелось в нашу починовскую школу. Что это за школа — смех, да и только! Всего-то одна комнатка в прирубке у деда Еврасима. И пол некрашенный, и окон всего три, хоть ты среди бела дня лучину зажигаешь, и тараканы на тебя из всех щелей смотрят, а в сенях какие-то драные хомуты, седелки валяются да разошедшиеся кадушки. И все четыре класса в одном.

А учительница Фаинка, внучка деда Еврасима, сама всего семь классов кончила и ходит в заплатанных чесанках да в каком-то перелицованном пиджачишке с деревянными пуговицами. И все-то зябнет, все-то зябнет...

Вот в Атаманове школа так школа! Все клас-

сы порознь, да плакатами, портретами, картами все увешано — прямо в глазах рябит. Даже глобус у них есть и библиотека.

Через нее-то, через библиотеку, я и попал в нашу починовскую школу, а если точнее, то через старшую сестру Томку. Принесла она оттуда книжку про Гулливера. Само собой, спрятала от меня. А чего прятать-то? Я благодаря ей же, Томке, и читать уже умел, и считать до сотни, и все стихотворения, которые она учила, знал назубок.

Так вот книжку эту я, конечно, отыскал в ее куклах, прочитал в бане у оконца, и запало мне с тех пор в душу, что эти самые лилипуты в нашем патефоне живут. Иначе кто же, думаю, в нем петь-плясать будет? А ночью, наверное, выползают наружу подкормиться, потому что сколько бы я ни крошил около патефона хлебных крошек — к утру ничего не оставалось...

Конечно, я давно бы познакомился с этими лилипутами, если б не Томка. Она не только не подпускала меня к патефону, а и вообще всегда за руку меня с собой таскала.

Но вот и на мою улицу праздник пришел первого сентября. Мать, как всегда, на работу, а Томка — в школу. Я до винтика разобрал патефон, но лилипутов почему-то не обнаружил. Может, думаю, они в часы перебрались на жительство. И часы разобрал — нет лилипутов. Видно, в другой дом перешли, размышляю про себя, наверное, кормил плохо. А где для них чего взять-то! Сами, считай, одну картошку едим, да грибы, да свеклу еще сушеную вместо сахара...

Ну и отправили меня после хорошей взбучки на другой же день в школу. Точнее, не в школу, а как бы в детский садик, где я должен был сидеть в четвертом ряду вместе с той же Томкой, не болтать ногами, не разговаривать и молча писать в самодельной тетрадке огрызком карандаша всякие палочки и закорючки.

Тут-то вот я вскоре и отличился на зависть всему нашему починку. Было дело, привезли на лошади нарядную тетку из роно. Она посидела в нашей школе, походила по рядам да и спрашивает: кто, мол, какие стихотворения знает про войну. Я так и вскочил от радости:

— Я знаю!

Томка мне тут же подзатыльник, да уж позд-

но. Тетка из роно пошептала о чем-то с Фаинкой, усмехнулась и говорит:

— Ладно, иди к доске.

— А может, тута? — не растерялся я, потому что выходить к доске мне не было никакого резона. Уж если рубаха на мне, перешитая все из той же бабушкиной кофты в горошек, была еще куда ни шло — всего с двумя заплатами, то штаны вообще состояли из одних заплат и держались даже не на лямке, а на обрывке черседельника. Про обувь и говорить нечего: ночью мать сшила мне из старых кирзовых голенищ какие-то такие чувяки, что они еще по дороге в школу разъехались. Из одного пятка торчала, словно луковица, а из другого большой палец с огромным кривым ногтем.

— Ну, давай с места, — опять усмехнулась тетка. — Про что рассказывать-то будешь?

— Да хоть про что, — говорю, — хоть и про пограничника, хоть про «первый сокол — Ленин, второй сокол — Сталин...», хоть про танкистов...

— Ну, расскажи тогда про пограничника.

— Пожалуйста.

И, опасаясь, чтобы меня не остановили, я зачастил, будто из пулемета. А как дошел до места, где пограничник убил троих шпионов, но подкрался четвертый и нанес ему смертельную рану, тетка из роно замахала руками:

— Голубчик, голубчик, потише!

А тут еще на беду Фаинка впуталась:

— Коля, Коля! Здесь же запятая перед «но».

«Вот черт, что еще за запятая? — растерялся я. — Томка, когда заучивала это стихотворение, ни о какой запятой там речи не вела. Запятая... запятая, — бился пульс в моих висках. — Что же это? Да ведь это шпионка, радистка! — осенило меня. — Ну, конечно! Какой толк фашистам через нашу границу ходить, ежели они Гитлеру никаких сведений передать не смогут. А Томка — дур-ра! Главную строчку пропустила. Ну и молодец же я, что вовремя догадался!» С чувством и расстановкой я повторил куплет:

— Троих он убил, и убил Запятую, смертельную рану нанес...

— Подожди-ка! — округлила глаза роновская тетка. — Как это «он убил запятую»?

— Очень просто, — пояснил я, — из автомата и убил.

— Коля, а запятая — это что по-твоему? — опять вмешалась Фаинка.

— Как что? Шпионка немецкая, радистка...

Тут все и грохнуло. А Томку вообще скрутило от смеха так, что она даже одернуть меня не могла, вроде как только трогала штанину. Однако меня не так-то просто было сбить с толку. Выждав, пока все утихло, я продолжал пояснять:

— Тут дальше в стихотворении все неправильно.

— Да почему? — утирая слезы, спросила ровновская тетка.

— Да потому! — удивился я ее бестолковости.

— Ведь троих он убил?

— Ну, убил.

— Радистку Запятую убил?

Тут опять все загоготали, даже первыши, а в стенку Еврасим чем-то стучать начал. И тогда мне ничего не оставалось, как выложить на парту нарезанные из малиновых прутьев палочки.

— Нате вам, сами считайте, — я отложил три палочки. — Троих он убил? Убил. Радистку Запятую убил? Убил. Значит, всего четыре.

— Ну, хорошо, Коля, пусть так, — согласилась наконец тетка. — А дальше-то что?

— А дальше то и получается, что уже не четвертый к пограничнику-то подкрался, а пятый, — в упор уставился я на нее, — а кто это стихотворение писал, тот, наверно, считать совсем не умел. Вот что получается.

Тут уже от хохота вообще все окна в избе задребезжали, а со стены упал единственный портрет Мичурина.

Да только ведь не теперь сказано: хорошо смеется тот, кто смеется последним. Тетка из роно оставила меня после уроков, объяснила, что такое запятая, потом попросила почитать книжку, посчитать на палочках и самолично зачислила меня во второй класс. Мало того, выдала мне две настоящие тетрадки в линейку и в клеточку, «Родную речь», «Арифметику», ручку с запасным перышком «лягушка» и целый пузырек настоящих чернил.

А наши-то, починовские, как писали самодельными чернилами из печной сажи на газетных обрывках, так с тем и остались. И это была, как вы увидите, моя первая и последняя удача в жизни.

Предсказание

Начальную школу я закончил с похвальной грамотой. Бабушка подержала ее перед глазами вниз головой и прилепила на хлебный мякиш в простенок на видное место. Всем в починке она начала хвастаться, что с таким образованием я не буду катать бревна, как все наши, а стану маркировщиком, а может быть, даже и в десятники выбьюсь.

Конечно, так бы благополучно и сложилась далее моя судьба, как предсказала бабушка, если бы на мою погибель не вернулись с фронта мой отец и мамкин двоюродный брат дядя Саша-медвежатник. Он еще до войны ухлопал сорок медведей, а в войну двести сорок немцев. После первой четверти самогона они долго по очереди шупали мою огромную от рахита голову и пришли к выводу, что с такой головой мне в починке делать нечего, а надо учиться дальше.

Потом вспоминали, как шли по Европе и как в каком-то городе Белграде для них все улицы устелили коврами, из которых, наверно, до сих пор бедные жители вытрясают вшей. Долго над этим смеялись, а потом взялись за вторую четверть. И когда ее ополовинили, начали немцам же и завидовать. Якобы у них даже в деревнях все живут в двухэтажных каменных домах, все ходят в суконных пинжаках с галстуками и в лаковых щелетах. Пьют вино прямо из бочек, а едят из серебряных тарелок и серебряными ложками. И папка мой под конец до того разъярился от этой зависти, что все наши деревянные ложки переломал через колено, а глиняную посуду расхрыстал об пол.

Потом, когда они допили и вторую четверть, запрягли лошадь и поехали в район. Папка мой уже молчал, только скрипел зубами, а дядя Саша орал: пускай они, тыловые крысы, проведут нам в починок к Покрову электричество, асфальтированную дорогу, откроют школу-десятилетку и лесотехникум, а лично ему перекроют крышу!

В районе они дебоширили три дня. В чайной повыбивали все окна, а под конец дядя Саша из своего именного пистолета пострелял все чашечки на телефонных столбах, и их обоих забрала в отрезвилровку. Папку моего на другой

день отпустили, а дядя Саша из отрезвилочки выходить наотрез отказался и потребовал, чтобы его выводили оттуда со знаменами и под барабанный бой, поскольку лично товарищ Сталин категорически запретил забирать Героев Советского Союза. Перетрусившие милиционеры собрали со всего райцентра флаги и знамена, и под барабанный бой пионеров дядя Саша торжественным, церемониальным шагом покинул отрезвилочку. За это нашу Варакшу в районе возненавидели окончательно и в очередной раз пытались всучить Веллуге. Правда, крышу ему все-таки перекрыли, но электричества и асфальтированной дороги в наш починок так и не провели, не говоря уже о десятилетке и лесотехникуме. Поэтому-то и пришлось мне ходить за десять километров в Атамановскую семилетку. И как начитался я в тамошней библиотеке всяких книжек, так и делался совершенно ненормальным вроде Коли Дедея, который за конфетку-подушечку такого наплетет за пять минут, что и за день не перескажешь. Начал я врать, и настолько безбожно, что бабушка едва с ума не сошла. (Не с этого ли начинали все писатели и политики?)

Вот прихожу из школы и докладываю ей:

— А в Атаманове мужики неводом водяного вытащили, но отпустили, потому что тот пообещал нашу реку Какшу соединить с Волго-Доном.

Или:

— А в Чашобниках поймали лешего с лешачихой и лешачонком. Лешего с лешачихой в Вятку в зоопарк отправили, а лешачонка нам отдали в живой уголок.

Или:

— Вчера к Атамановскому мосту пираты на корабле причалили. Все магазины ограбили, а учителей наших перетопили, так что в школу недели две не надо ходить, пока новых не пришлют...

Бедная моя бабушка чего только ни делала: и святой водой кропила, и четверговой соли на ночь привязывала, и к батюшке Абросиму водила — все бесполезно. Вру и вру, хоть ты рот зашивай. Потасили меня к ворожее бабке Дарье. Та разложила на столе сотню бобов, чего-то покумекала над ними и сообщила, что ничего путного в жизни меня не ожидает.

Бабушка добавила ей еще десяток яичек, а бабка Дарья в свою очередь добавила на стол бобов, но получилось еще хуже: на моем жизненном пути встал какой-то шкилет, после которого житуха моя, и без того беспросветная, станет еще хуже. А жизнь на Варакше вообще прекратится.

— Ну, а как насчет вранья-то, Марковна? — поинтересовалась вконец убитая горем бабушка.

— А то и скажу, Капитоновна: пушай врет, ежели без корысти. От этого вреда никакого и никому не будет...

— А ежели с корыстью?

— Ну, тогда хлестать его придется, как сидорову козу. Только полотенцем не бейте, а то вредный сделается, и веником тоже нельзя — теща любить не будет...

Поначалу, однако, я всяких скелетов стал побаиваться, и когда в Барановом волоку волки задрали мерина дяди Кузьмы, то скелет его, на всякий случай, обходил стороной. А также близко не подходил и к особо тощим мужикам, которых у нас на Варакше тоже звали шкилетами. Но поскольку ничего плохого со мной не происходило, то вскоре все и забыл...

Артист

Вобщем, врал я, врал, а потом всю эту вранину и стал посылать в районную газету «Красный льновод». Но оттуда вскоре пришло письмо с просьбой, чтобы я писал не «фантастику», а сообщал бы о значительных событиях, которые происходят у нас, и о трудовых достижениях. Господи ты, боже мой! Ну, какие же такие значительные события в нашем починке? Ну, бабы у колодца разругаются из-за утопленной бадьи, ну, заблудится кто-то в лесу, ну, волка или медведя кто-нибудь убьет. Или дед Протас уснет на своем смолокурном заводике, а котел-то переполнится и его самого зальет смолой. А на другой день всем починком выдирают его из этой смолы. Так это што: трудовое достижение?

Вскоре, однако, все же напечатали крохотную заметку о том, что дед Флегонт больше

всех в починке ивового корья надрал. Вот с этого все и началось. Пришел ко мне Сеня Жуйков из деревни Плясуны и поманил пальцем на улицу.

— Прихвати-ка бумаги да карандаш или ручку... — шепнул Сеня мне загадочно на крыльце.

— Зачем это? — спросил я его. — Письмо, что ли, написать или заявление какое?

— Это я сам могу, — постукал Сеня согнутым пальцем по своей круглой, точно камень-голыш, голове, — насчет этого у меня котелок варит...

Я взял чего требовалось и вышел на улицу.

— Айда в баню! — не то попросил, не то приказал Сеня.

В бане он по-хозяйски осмотрелся, отодвинул в угол шайку с водой, причесался перед обломком зеркала, поправил ремень и обратился ко мне:

— Вот ты, значит, про старика тут в газете пишешь, а разве он заслужил это?

— Ну, как же, — обиделся я, — он же корья больше всех в этом году надрал, дедушка Флегонт-то, ему за это даже полушубок в сельпо обещают новый.

— Эх, ты! — сожалеюще покачал головой Сеня. — Ну что такое корье? Мелочь, ерунда, в руки, можно сказать, взять нечего...

— Но ведь напечатали же!

— Напечатали, хе-хе... — усмехнулся Сеня. — Да потому и напечатали, не знали, что он тебе родня. Вот погоди: дохнет кто в газетку-то, знаешь, чего тебе за это будет?

— И ничего не будет, он же не украл корье-то, а сам надрал в старой пожне, высушил и отправил на станцию. Он бы и еще больше надрал, да его тетка Канида заставила крышу на сеновале перекрыть.

— Сеновал, крыша, корье какое-то... Да разве есть во всем этом настоящего-то геройства хоть на полушку? На фронте-то он был, твой Флегонт?

— Нет, не был, ему же в прошлом году семьдесят лет исполнилось...

— Вот то-то и оно, — обрадовался Сеня, — а тут, понимаешь, люди воевали, танки, как говорится, зубами грызли, кровь лили. — Сеня поднялся и в волнении заходил по бане.

Я растерялся. Заметив это, он подсел ко мне и приказал:

— Ну, что сидишь? Записывай!

Кое-как примостившись на подоконнике, я открыл тетрадку. Сеня долго ходил из угла в угол, как бы глубоко задумавшись. Наконец он остановился и просветлел лицом.

— Значит, так: в одна тысяча девятьсот сорок втором году армию нашу окружили в болоте. Сидим день, два, неделю сидим, месяц... А фрицы по нам из пушек и пулеметов, из танков и минометов и днем, и ночью, и до обеда, и после обеда садят и садят. Потом вдруг: ша! Тихо... Ну, вызывает меня, значит, командующий и спрашивает: соображаешь, товарищ Жуйков, отчего немцы стрелять перестали?

— Никак нет, — говорю, — не соображаю.

— Голова ты, — говорит, — садовая: боеприпасы они берегут. Узнали, что вечером мы на прорыв пойдем, и экономят. А надо бы повытрясти у них припасы-то, с голыми руками к вечеру-то оставить. Мы, — говорит, — только что с вашим сельсоветом по рации связывались. Нам сказали, что ты пляшешь добро.

— Само собой, — отвечаю, — все призы на праздниках мои были...

— Вот-вот, — говорит, — такого нам и надо.

Сеня заглянул мне через плечо и спросил:

— Успеваешь?

— Успеваю, — ответил я не очень уверенно.

— Тогда пиши дальше. Приводит он меня на высоту одна тысяча двести сорок один. Ну, на высоте саперы, само собой, уже настил сделали и лавочку для гармониста поставили. Командующий наливает мне из своей фляжки чистого спирту два стакана и говорит: ну, Семен Александрович, не подведи: вся надежда на тебя...

— Я-то, — говорю, — не подведу, товарищ командующий, да только бы сапоги не подвели: каблуки шибко сносились...

Тогда он, ни слова не говоря, снимает и отдает мне свои, яловые. Переобулся я, он обнял меня, заплакал и говорит:

— Вприсядку, Семен Александрович, вприсядку побольше старайся, тогда им, гадам, трудней в тебя угадать будет...

А я про себя посмеиваюсь: какой черт им в меня за два километра угадать, если дома, когда я плясал, в меня и с трех метров щепкой никто не попадал! Начал я, само собой, с «цыганочки».

Сеня встряхнулся, несколько раз прошелся по кругу, отшвырнул в угол попавшийся под ноги веник, отступил к двери, хлобыстнул картузом об пол и пошел выдывать такие штуки, что вся баня заходила ходуном, а я сразу же перестал различать, где у него руки, а где ноги и голова.

*И-эх! Я цыганочку-игру
Да лучше милочки люблю.
Когда буду помирать,
Велю цыганочку сыграть...*

В кучу золы вывалилось несколько кирпичей из каменки, и баня заполнилась серой пылью, но Сеня не обращал на это никакого внимания. Я уже совсем не видел его, а только слышал шелчки, дробы, треск половиц да дребезжание ведер и чугунков.

В починке залаяли собаки. Я высунулся в оконце. Около нашего дома остановилась тетка Махониха и, приставив к ушам руки, с беспокойством оглядывалась по сторонам.

— Дядя Семен, ты лучше рассказывай, — попросил я, — а то еще придет кто-нибудь...

Сеня опустился на скамейку, тяжело дыша и вздрагивая всем телом. Красная шелковая рубаха у него взмокла от пота, из хромовых в гармошку сапог выбились штанины.

— Нет, язвы ее под корень, без гармошки совсем не то... Написал-то много?

Я молча протянул ему тетрадку. Сеня перелистал ее и заметил:

— Ты бумагу-то не береги, я тебе в случае чего принесу, — он оправил рубаху, поднял с полу картуз и, закурив папироску «Бокс», продолжал: — Вот, значит, пляшу я эдак-то час, другой, а фрицы молчат. Молчат и все тут, хоть бы разик стрельнули. Командующий, гляжу, совсем расстроился, эх, думаю, была не была: мигнул гармонисту да и рванул под «Сентетюлиху».

Сеня опять не выдержал, вскочил с места и пошел вприсядку, широко раскидывая руки и ноги, точно делал зарядку:

*Сентетюлиха телегу продала,
На телегу балалайку завела.
Пригласите ко мне Колю-игрока,*

*Посадите в куть на лавочку,
Дайте в руки балалаечку,
Будет Коленька наигрывать,
Ну, а я буду наплясывать...*

— Дядя Семен, придут ведь! — предупредил я, заметив, что около бани собирается народ.

Но Сеня ничего не слышал. Он остановился, рубанул рукою воздух и крикнул что было мочи:

— Вот тут-то, в этом самом месте, и не выдержали они, не сдюжили голубчики! Да кы-к жажнут по мне изо всех стволов, и пошло: гармонисту голову напрочь, мне тут же другого, и того убило, мне третьего, и тому конец.

— Дальше-то чего, дальше-то? — не вытерпел я.

— Дальше-то? — переспросил Сеня, широко раздувая ноздри. — Подползает командующий и кричит:

— Бери гармонь, нет больше в армии гармонистов.

Я, значит, беру гармонь и пошел, пошел! От подметок дым клубами, а мне все нипочем: они что, мои сапоги-то... А вокруг-то меня, мама родная! Мины, осколки, пули, гранаты, бомбы! Командующий маячит руками: давай, мол, давай! А я про себя думаю: дурачок, да меня если по-хорошему угостить, так я хоть неделю без всякого отдыха пропляшу...

В моей голове от увиденного и услышанного все воспалилось, смешалось и перепуталось: пушки, минометы, шайки, веники, генеральские сапоги и Сенины частушки.

— Видят они, что дело пустое, и подтянули супротив меня тяжелую артиллерию да как шарахнут шрапнелью-то, а я, один черт, пляшу и пляшу. Командующий-то орет, руками машет: хватит, мол, хватит уж, а я и остановиться не могу. Спасибо офицеры утащили...

Сеня опустил на лавку.

— Прорвалась хоть армия-то? — спросил я, стгорая от любопытства.

— А ты что думал, как миленькие прошли: у немцев-то на понюшку ничего не осталось, все на меня расхлопали...

Сеня смерил меня уничтожающим взглядом, вытер со лба пот и добавил:

— Так-то вот! А ты корье, Флегонт какой-то...

Я трудился целую ночь, а наутро вручил почтальону Митюхе огромный сверток с доку-

ментальной повестью «Геройский поступок Жуйкова Сени».

Ответ мне пришел через неделю.

«Уважаемый товарищ корреспондент! — писали мне из газеты. — Мы очень сожалеем, что Семен Александрович Жуйков не совершал пока описанного вами геройского поступка, потому что не был на фронте. Однако о его таланте мы сообщили в районный отдел культуры...»

В тот же вечер Сеня сам прибежал ко мне сияющий, запыхавшийся и с какой-то бумажкой в руках.

— Во! Слышал? В районе плясать приглашают! — сообщил он мне. — Узнали все же про настоящего-то артиста! А-то Кольку Катюхина хотели послать на смотр-то, нашли плясуна! Тьфу!

— Ты зачем наврал-то? — чуть не заплакав, в отчаянии спросил я. — Ведь у меня теперь ни одной заметки не напечатают!

— Да я виноват, что ли, — искренне изумился Сеня, — что меня на войну не взяли... А если бы взяли, все в точности так и было. Уж Сеня Жуйков не струсил бы... Не-ет! Тут уж, дорогой товарищ, извини-подвинься...

Простота хуже воровства

Меня же после этого не только не перестали печатать, а пригласили даже в газету на слет селькоров. Сам редактор принял меня как родного: взял под руку и повел в свой кабинет, а там начал поить чаем с халвой. Потом спрашивает:

— А как дела в вашем колхозе?

— В каком, — говорю, — колхозе? У нас его отродясь не бывало.

— Как так?

— Да очень просто: уполномоченные ежели нагрянут, дак пока пурхаются в низинах, наши-то все коров на лямки, самовары на плечи — и айда в тайгу. Тама у всех избушки есть запасные: хоть неделю, хоть две можно жить.

— Интересно, интересно... И престольные праздники, наверно, справляют?

— Справляют все поподроб: и престольные, и советские...

— Наверно, и самогон гонят?

— Само собой. Аппарат-то у нас дорогой, сыном бабки Боботки деланный в Челябинске на заводе. Поэтому, штобы не прознали про него, дак в лесу у Кривого омута в сторожке его держат. Там и гонят по очереди. Только деду Егору не дают. Он как напьется, так и орет на всю тайгу: «По диким степям Забайкалья». Услышать же могут в соседних-то починках да и украдут. У них такого аппарата в жизни не бывало. Гонят-то через ствол от старого ружья, который пропущен через деревянное корыто. А в корыто или лед кладут, или холодную воду наливают...

— Ну, а песни-то какие у вас по праздникам поют: советские или старинные?

— Да всякие. Но больше «Златые горы» да частушки супротив советской власти.

— Например?

— Мишка Мезерин на Ветлугу в прошлом году на заработки ходил, но что заработал, то и пропил да на «раковых шейках», конфетах, проел. Про это и поет:

*На Ветлуге я работал,
Полкотомки вшей принес,
Дома вывалил на лавку —
Мамка думала овес.*

— Изумительно! Ну, а супротив советской власти чего?

— А это больше Колька Кукушкин базлает:

*Сталин Ленина будил,
По плешине колотил,
Ты вставай, такая мать,
Пятилетку выполнять.*

Или еще...

— Хватит, хватит! — замахал руками редактор и заоглядывался по сторонам.

Эх! Правду же говорят: простота — хуже воровства. На-амного хуже! Являюсь я домой-то через два дня, а там уж весь наш Выползов починок энкавэдэшники разгромили. Окружили целым батальоном и пошли чесать: кого побили, кого оштрафовали, а Кольку Кукушкина с собой забрали и даже самогонный аппарат увезли...

Меня же чуть не убили. Целую неделю в ови-

не в ржаной соломе скрывался. А когда после десятилетки в этот «Красный льновод» меня стали сватать корреспондентом, тут уж вся Варакша на дыбы поднялась. Родителям моим так прямо и заявили: ежели вы его отпустите в эту газету, то мы и дом ваш сожжем, а вашего выпоротка, меня то есть, или утопим, или пришибем, как того придурка Пашу Морозова, который деда родного заложил. Потому что ежели ваш выпороток уйдет в этот «клязник», в «Красный льновод», да всю подноготную про Варакшу начнет обказывать, дак нам всем Колымы или Соловков не миновать...

А батюшка Абросим вызвал меня и говорит:

— Ты, Колька, иди лучше на ветеринара, потому что писательство — это дело не крестьянское, а дворянское. Им нечего было делать-то, вот и писали да скулили о бедных и угнетенных вместо того, чтобы все им отдать движимое и недвижимое. Ну и доскулились до Троцкого да до Ленина... А наш-то Лукашка-коновал, сам видишь: совсем с круга спился. Уж скоро быка от коровы отличить не сможет...

Лукашка-коновал славился у нас на всю Варакшу тем, что при любой болезни прописывал скотине пол-литру водки или самогонки, из которой половину всегда выпивал сам прямо в хлеву, услав бабу за чем-нибудь в избу, а другую половину выпаивал корове или свинье через длинную резиновую трубку. Он даже свой скальпель давно потерял и поросят кастрировал сапожным ножом, то и дело обмакивая его все в тот же самогон для дезинфекции. В каждом доме, несмотря на категорический запрет батюшки Абросима, его угощали. Так, что в последние дома его водили уже под руки. А он, желая показать ученость, поднимал кверху кривой указательный палец и прорицал:

— Сердце, товарищи, што у коровы, што у лягухи, што у овцы, што у свиньи, што у бабы — одинаково. Это есть мускульный, конусообразный полый орган для переливания крови — и больше ни хре-на!

Поэт из Голопузовки

Взял я грех на душу: послушался батюшки Абросима и сунулся после десятилетки в областную партийную газету. Но не успели меня еще оформить литсотрудником, как в комнату ко мне явился маленький шустрый старикашка, настолько заросший черным кудрявым волосом, что даже из ушей и из носа свешивались у него целые пряди. Посреди этого буйного волосяного покрова, словно только что вынутая из горна заготовка, светился большой крючковатый нос. И казалось, что от него вот-вот вспыхнет и затрещит все это волосье. Я вроде бы даже почувствовал запах чего-то паленого.

На старичке под стать его черным волосам был черный суконный пиджак с единственной огромной деревянной пуговицей, по сравнению с которой медаль «За отвагу» на лацкане выглядела копеечной монеткой. Пиджак дополняли солдатские брюки-галифе, застиранные до коленкорového цвета. Но всего удивительней были огромного размера кирзовые сапоги, носки которых загибались кверху, словно необрубленные коровьи копыта.

На правом плече у старичка висела гармонь-двухрядка, а на левом берестяной пестерек, с каким в наших краях ходят в лес за грибами, за брусничкой или «бродить» рыбу.

Старичок, словно ванька-встанька, начал раскланиваться, но вдруг зачихал, закашлял, бросился в угол и стал сморкаться на старые подшивки газет.

— Козу держу, — через некоторое время сообщил он. — Пошел ноне косить-то в лес. Да и натакарился на дурман-траву. Вот и привязалась литургия.

— Аллергия, наверно, — поправил я.

— Ну да, литургия, будь она проклята. Всю дорогу обсморкал, да и у вас все лестницы.

Дед крепко пожал мою руку и сообщил:

— Я поэт из Голопузовки. Печатался в районной газете. А звать меня Семеном, а по отчеству я Ананьевич. А фамилия в нашей деревне у всех одна: Голопузовы от мала до велика.

Дед бережно поставил гармошку на пол у своих ног. Потом снял пестерек, развязал молчаливую веревочку и выставил на стол целую

четверть самогона. Потом еще порылся в пестерье и выложил кулек каких-то творожных комочков.

— Пей, не береги, — указал он на четверть. — Чай не покупная. Бочка у меня за сараем в лопухах железная. В нее все и валю: и ягоды, и яблоки, и грибы. Напотом горстку дрожжей да меду баночку. А как все переуркает, и наставляю на бочку-то три паяльные лампы. Но ежели муть пошла — лампы-то отодвигаю... Одно-ва двоих командировочных чуть с ума не свел. Они у меня на сеновале ночевали. Приползают через лопухи-то на полянку да ну хохотать. Мы, говорят, думали, што у тебя за сараем военные ракету запускают или самолет реактивный поднимают... Оно, конечно, гулу много от трех паяльных ламп, но я на отшибе живу. Милиции-то невдомек. Да и гоню-то для дела, а сам с войны ее не потребляю... Я вообще все умею: хоть печи ложить, хоть шорничать, хоть рамы вязать, хоть корзинки плести, лапти, пестерки... Ежели хочешь, то и тебе сплету шестерички. Грамотны люди их теперича на видно место подвешивают. А вот брынза, што у тебя на столе, ну никак не получается. Рассыпается, как крупа. Я-то уж и давил ее в горшке, и казеинового клею добавлял, и крахмалу — ничего не помогает. Но ты ешь, закусывай, она очень полезительная.

А што касательно стихотворений, то я имя с детства был ушиблен. Правда, и попадало же мне за них и от батька, и от деда! Надо дело делать, а я задумываюсь. Батька-то как даст подзатыльник. А дед все за уши драл. Какое, говорит, твое свинячье дело пустым делом заниматься, ежели пахать, косить, боронить надо. Только прадед сочувствие и проявлял. Он в гусарах служил. Бывало, нагрязнут всем эскадронном в Голопузовку-то, дым коромыслом, две недели без просыпу. Рябенков наделают — и опять в поход. Прабабушка моя Лизавета, помню, бывало и руками, и ногами зыбки качала...

Но я-то все равно в овине или в бане занимался этим делом. Бывало, девкам такое сочинию про любовь да про измену, дак они так и уливаются слезами. А отшабашил меня от писанины бригадир Ситька колченогий. Тетка-то моя Агафья раз приходит и говорит:

— Ты, Семка, поскольку знакомство в газетке

завел, дак дохнул бы на Ситю-то. Ведь житья никакого не стало: пьет кажинный день, дерется, людей на своем жеребенке мнет, грязным бадагом молоко у нас, у доярок, меряет...

Ну и накропал я в газетку-то можно сказать целую поэмку.

Голопузова бригада, работающая как надо.

Только жаль, что бригадир — пьяница и дебошир.

На коне, как воевода, конь-огонь у Всеволода.

Вдрызг напившись, обормот скачет прямо на народ!

Может он избить доярку, обругать при этом «ярко».

С фермы всех поразогнать, что с такого гада взять?

С председателем по дружбе водку пьют во время службы,

Не сбегут-де, мол, дела, захмелимся, трын-трава.

Водка дружбу их скрепила, и нужна партийна сила,

Чтобы связь порвать такую и наладить деловую.

Вот поэмку-то эту взяли да и напечатали целиком и полностью в газетку-то. Председателя нашего скинули да куда-то в район перевели, а Ситьку колченогого тоже скинули из бригадиров в объездчики. И вот с той поры не стало мне в Голопузовке никакой жизни. Как где увидит меня, так и гонит кнутом до самого дома. Да еще и причитает:

— Это тебе за пьяницу! Это за дебошира! Это за обормота! Это за гада! А это за партийную силу!

Но теперича, когда конюшню мою закрыли и я имею массу свободного времени, то решил целиком и полностью отдаться своему любимому делу.

С этими словами дед достал из-за голенища толстую тетрадь из оберточной бумаги, прошитую дратвой.

— Поэма, — сообщил он. — Называется «Дружба народов».

Мы с Китаем в противоречьях,

Но это временно. Пока.

А когда Хрущева скинут,

То станцует гопака.

Дальше шло все в том же духе. Причем хунвейбины рифмовались почему-то с кудрявыми рябинами, бараны с барабанами, а Никита Сергеевич Хрущев с самыми что ни на есть отборными матюгами.

Я было задремал, но тут же вскочил от неожиданности. Дед рвал на коленях свою двухрядку и, притопывая, распевал во все горло:

*Во саду ли, в огороде
Жили три китайца.
Беспартийного поймали,
Оторвали яйца.*

— Семен Ананьевич, да ты очумел разве? — изумился я. — Услышат же!

— Это я для разрядки, — пояснил дед. — Ты мне вот што скажи:

*Первый сокол Ленин,
Второй сокол Сталин,
А кругом летали
Соколята стай.*

— Соколята — это кто? Это члены Центрального Комитета или же Политбюро?

— А черт его знает, — пожал я плечами. — Об этом у поэтов надо спрашивать, у композиторов...

— Вот я и говорю: почему же эти соколята-то не могут ему его лысую, пустую башку расклевать? Ведь надо же до чего додумался: всю землю распахал, скотину выгнать некуда.

Дед опять схватил двухрядку и, передразнивая эстрадных певцов, пропел:

*Травопольная система,
До чего ж ты хороша:
В поле травка и цветочки,
А в амбаре ни шиша...*

— А теперича вишь што получилось: и в амбаре ни шиша, и травки в поле-то нету. Козы-то в нашей Голопузовке все жерди на огородах обгрызли... Но ты мою-то поэмку зря недослушал, — свернув «козью ножку», продолжал дед. — Митька-то, мой племянник, у этого Никитки в охранниках был. Дак когда Мао-то к нему приехал да стал за Сталина заступаться, мол, беда будет великая вашему государству, ежели вождя-то хаять, так Никитка-то на него в драку. А Мао-то повалил его да за глотку. А мой-то дурак, Митька-то, за ногу его и стащил. Дак я ему тепер за это ни рюмки, ни руки не подаю...

— Семен Ананьевич, может, вам лучше про войну что-нибудь сочинить? — попытался я выкрутиться из этой скользкой и опасной темы, заметив, что сотрудники газеты то и дело, ухмыляясь, заглядывают в нашу комнату.

— А че, парень, про нее писать, — махнул дед рукой. — Одна пьянка.

— Как это?

— А приписали меня к обозу, к походной оружейной мастерской. А начальник — пьяница созлый. Где-то до войны по складам ошивался. Ну и затарился в одном городе спиртом. Шесть полнехонек бочек закатил в грузовик. А сверху их бензином облил: мол, горючее возьмем про запас. Ну и нас всех к этому зелью привадил. Бывало, постреляем из винтовок-то для близира, вроде как бы отремонтированное оружие проверяем, да опять за кружки. С той поры у меня нос-то и покраснел, хоть прикуривай от него. Да и рожа такая же, ежели оскоблить. Я-то врал потом своим деревенским, што, мол, это из-за контузии. А какая, парень, контузия, ежели до самого Берлина не просыхали...

— Подожди, а медаль за что?

— За глупость начальства. Присел я как-то в кукурузе по-большому и слышу рядом чой-то шубаркает. Шуршит, кряхтит и шубаркает. А там немец сидит, и тоже по-большому. Я: хан-де хох! И в штаб его. А уж когда медаль-то выдали, оказалось, что он сам к нам в плен шел сдаваться. Значит, не возьмешь поэмку-то?

— Нельзя, дед. Обоих же посадят.

— Дак, может, про любовь подойдет?

Дед тут же выхватил из-за голенища другую тетрадь, еще толще первой, и зачастил, умильно закатывая глаза:

*Идешь ты непорочная
В кругу среди девчат,
И груди твои почками
Созревшими торчат.*

— Это у меня про Лидку Махонину, — начал он пояснять, — из Дымковской слободы, где игрушки-то лепят из глины. Мы в молодости всегда туда ходили. Мне к тому время батько уж и костюм справил, сапоги гормошкой, и двухрядку вот эту. Я дорогой-то парням поигрываю, а перед слободой спрячу ее. Стыдно с

двухрядкой-то: в Дымкове уже и баяны, и кардионы были.

Вот одна идем обратно, а я как заиграю, так конскими катышами и завоняет. Ребята-то смеются: от тебя, Семка, вроде как мерином припахивает. Крышку-то открываю — полные меха конского дерьма дымковские для надсмешки напихали. Но это так я, к слову...

Вот Лидке-то и говорю однажды:

— Ох, и станок у тебя, Лида, красивее всяких ваших игрушек... — А она хохочет: не с твоим, говорит, разрядом на нем работать, Семка. Д-дура! Откуда ей было знать про мой разряд. Ведь хреновое дерево завсегда в сук растет... Я и теперича не только по своим голопузовским бабенкам бегаю, а бывает, што и в соседнюю деревню загляну. А Лидка-то уж который год с клюкой ходит...

Поэма про любовь у деда опять закончилась сплошными матюгами в адрес Никиты Сергеевича Хрущева.

— Семен Ананьевич, может, тебе заглянуть в молодежную газету, — уже не зная, как отвязаться от деда, посоветовал я.

— Да был уже. Четверть самогонки выпили, гоготали до упаду, а хоть бы одну строчку черкнули...

— В таком случае прозой попробуй что-нибудь. О природе, о колхозе...

— Нет, парень, я могу только стихом. Прозой не получается. Я ни запятых, ни точек не знаю где поставить. Все у меня сливается, и даже самому непонятно.

— Тогда, дед, не знаю.

— Может, хоть частушки возьмешь? — с надеждой спросил он.

И, не дожидаясь ответа, опять рванул свою двухрядку:

*Он не сеет и не пашет,
Только ездит, шляпой машет...*

— Не пойдет?

Я отрицательно замотал головой.

— Оно, конечно, — заговорил дед с обидой. — Все вы партийные. Вы и на бабу свою лазите, наверно, с думой о пленуме. Думаете, я не знаю, чего вам надо:

*Наш дорогой Никита Сергеевич!
Вперед к победе коммунизма!
Догоним и перегоним Америку!*

А у меня с конюшни последнюю лошадь на колбасу увели, без работы оставили...

Дед трясушимися руками стал завязывать свой пестерек и горько заплакал. А у меня пропало всякое желание работать в областной партийной газете...

Шкилет

Если вы не бывали в анатомичке нашего ветеринарного факультета, так лучше и не заходите. Это огромный подвал, едва не до потолка заваленный кишками, желудками, муляжами, мумиями, отрубленными головами с рогами и без рогов.

В углах подвала темно, жутко, того и гляди выскочит оттуда из-за горы черепов какой-нибудь половец или татаро-монгол и кривой саблей напрочь снесет и твою башку. Внутренности же так воняют формалином, что слезы текут у тебя ручьями, как, наверно, у тех невольников, которых уводили когда-то в полон на галеры.

Подвал перегорожен пополам огромным столом с грудями всяких костей. За столом сидит тощий профессор Чуватин, сам похожий на мумию, если бы не белый халат да такой же белый чепец.

По другую сторону стола сидишь ты, съездившись, словно перед повешеньем или расстрелом. Чуватин еще только вчера гонял с нами футбол, рассказывал похабные анекдоты, а сегодня зверюга зверюгой. Похохатывая, подмигивая, он бросает тебе, как собаке, кости через стол.

— Так, правильно, позвоню. А какой по счету и от кого? Верно. А это?

— Ребро лошади с правой стороны.

— Молодец. А вот это што такое у меня в пригоршнях?

— Кости из скакательного сустава крупного рогатого скота.

— Назови, пожалуйста, по-латыни.

— Оз карпи радиале, оз карпи ульнаре, оз карпи интермедиум...

Чуватин, зажмурив глаза от умиления, слушает эту латинскую белиберду, словно поэму или симфонию.

— Достаточно. А это?

— Это... это тоже, кажется, из скакательного сустава...

— Прекрасно! Я так и знал! — радостно потирает руки профессор. — Придешь через пару дней. Это же хвостовой позвонок собаки, третий по счету... Кстати, оболочки яичника выучил по-латыни или нет?

— Выучил. Туника сероза, туника фиброза, туника субдуртоиз коммунис...

Чуватин опять, зажмурив глаза, слушает с восхищением и восклицает:

— Ай да молодец! Но зачетку рановато принес. Ну приходи, приходи. Всегда рад тебя видеть. Большому кораблю — большое плаванье. Еще поплаваешь, тогда уж и зачетку приноси...

А ведь я ему, как человеку, лося на Варакше завалил. Думал, хоть какую-нибудь поблажку сделает. Черта с два! Ошкурил его, высушил в котельной и поставил посреди анатомички. А теперь берет на зачете спицу метровую, прокалывает мумию где попало и спрашивает: чего проколол? Какие мышцы? Связки? Нервы? Кровеносные сосуды? Внутренние органы? Меня за этого лося весь курс возненавидел.

Но речь не об этом. Прихожу я как-то в анатомичку-то, гляжу: рядом с этой лосиной мумией скелет человека стоит. Я так и обмер, вспомнив про бабки Дарьи ворожбу. Стоит себе улыбается. Кто-то успел уже ему в зубы окурочек вставить, а промеж ног привесить на веревочке половой член жеребца.

Оказалось, что в медучилище сгорела анатомичка и к нам этот скелет притащили на временное хранение. Три ночи снилась мне то бабка Дарья, то этот скелет, и всякий раз почему-то он мне подмигивал. И я, хотите верьте, хотите нет, стал бояться ходить один в анатомичку. Да и вдвоем-втроем мне все равно было страшно. Зубрю-зубрю какие-нибудь отверстия на бычьем черепе, оглянусь — а скелет как бы улыбается, сволочь. Кто-то еще додумался фуражку ему одеть набекрень, а на три передних зуба прилепить позолоченную фольгу от шоколадной конфетки. Такой у него стал за-

лихватский вид, только гармошки в руках не хватает. Но мне было не до смеху, и, чтобы как можно скорее расстаться с ним, я за месяц вызубрил всю анатомию всех видов сельскохозяйственных животных, вплоть до кролика и собаки, и так ошарашил Чуватина, что впервые за всю историю ветеринарного факультета он поставил мне на экзамене пятерку. Обо мне появилась даже хвалебная статья в институтской многотиражке, а старшекурсники ходили смотреть на меня как на чудо.

Однако ничего это меня не радовало. Я нутром уже чуял беду и написал батюшке Абросиму письмо с просьбой: нельзя ли мне вернуться на лесоповал.

Ответ добил меня окончательно. Батюшка Абросим категорически возражал и в приказном порядке требовал почаще причащаться, исповедоваться и уповать на Бога. Уповать-то я уповал. А причащаться да исповедоваться где? По приказу Никиты Сергеевича Хрущева в Вятке несколько церквей взорвали, а в остальных отключили воду, электричество и закрыли из санитарных соображений. И мне оставалось только надеяться на бабушкину четверговую соль, которую я всегда носил в потайном кармане.

«Боец невидимого фронта»

Вобщем, сколько я ни уповал, сколько ни носил в кармане этой соли, ничего не помогло. Правду сказано: от судьбы не уйдешь. Тот злополучный праздник 7-го ноября я запомнил на всю оставшуюся жизнь. Иду на демонстрацию и вдруг вижу: народ по Октябрьскому проспекту бежит почему-то в обратную сторону — не к театральной площади, а к нашему институту. А там уж такая толпа собралась, какой, наверно, не было на коронации Императора всяя Руси. И все чуть ли не по головам пытаются влезть в самую ее середину. А которым уже удалось это сделать, вылезают оттуда и, чтобы от хохота не упасть, держатся друг за дружку. Минут через двадцать пробился и я и едва не рухнул на асфальт. На дороге посреди проспекта стоял на поржавевшей,

погнутой подставке скелет из нашей анатомички. На лбу его масляной краской было написано: «колхозник». А на ребрах красовалась табличка с надписями:

**Кожу в налоги сдал,
Шерсть сдал,
Мясо сдал,
Яйца сдал.
Готов жить при коммунизме!**

Я даже не успел пожалеть того шутника, что выставил скелет на всеобщее обозрение, как оказался в переполненной нашими студентами камере МВД. Там, несмотря на тесноту и духоту, дикий хохот продолжался. И продолжался еще целую неделю, пока не остался я в полном одиночестве. Вот тут-то я опять и вспомнил бабку Дарью с ее бобами и поник головой.

Боец невидимого фронта, как теперь называют тружеников КГБ, открыв довольно объемистую папку, начал издали:

— А помните ли вы, студент Выползов, деда своего Андрея Ананьевича?

— Откуда? Расстреляли его в тридцать восьмом, а я родился в сорок первом.

— Так, так. А может, слышали от своих, за что его советская власть шлепнула?

— За крашенные ворота, — бабушка говорит, — да за десятилинейную лампу. Надо же было ему, дураку, купить эту лампу — на одном керосине разорились...

— Так, так, — начал перелистывать папку боец невидимого фронта. — А вот частушки антисоветского содержания и оскорбляющие наших вождей ведь вы сочиняли?

— Какие частушки?

— Вот: Сталин Ленина будил, ну и так далее...

— Да вы што? Эту частушку мужики со сплава привезли, с Ветлуги. Можете даже у батюшки Абросима спросить.

— Спросим. Спросим и с вашего попа-расстриги. Уж ох как спросим! Так, значит, вы частушек не сочиняли?

— Сочинял, девкам своим, про любовь и про измену:

*Ты не пой, соловей,
В поле на тычинке,
Стало некого любить
Во своем починке...*

Кого, по-вашему, любить-то, если из нашего починка из пятидесяти парней и мужиков трое вернулось. Или еще:

*Я любила Кольку,
Волосы под польку...*

Они мне за каждую частушку горсть конфеток давали, правда такие, что целый день челюсти не разожмешь, ириски называются...

— А вот стишки в «Красном льновод», уж тут-то вы не отопретесь. — Перелистнул боец еще одну страницу и начал читать:

*Разного рода бывают и грязи:
Хорошая грязь есть в Крыму, на Кавказе,
Она обладает целительным свойством,
И к ней приезжают больные с расстройством.
У нас же в райцентре грязь сорта другого,
Состава примерно и свойства такого:
Придумал ты, скажем, идти по дороге,
То трудно сказать, унесешь ли ты ноги.
С камня на доску порхает прохожий,
Глина раскисла, денек непогожий.
В пучину глубоко ушли тротуары,
А где и остались, так дряхлы и стары.
Нам в школу попасть трудно вато, но можно,
Как вор, у забора крадись осторожно.
И страшно подумать, что лишь из-за грязи
У власти с народом нарушатся связи...*

— Твое?

— Мое. Вы же, наверно, не учились в вечерней-то школе, в нашем Шабалино. Чуть свет увезут тебя в делянку за тридцать километров и уже затемно привезут. А ты по эдакой грязище и прешь в школу-то, и не знаешь: дойдешь или нет. А ежели дойдешь, то первый-то урок кое-как высидишь, а потом спишь. А потом тебе, спящему, еще сосед рожу чернилами или сажей вымажет да в бок и толкнет. Иди, дескать, тебя к доске вызывают. Ну и выйдешь на потеху...

— Перестаньте вола крутить. Вы же под сомнение нашу родную советскую власть своими стишками поставили: у власти, видите ли, с народом нарушатся связи. А знаете ли вы, что народ и партия едины?

— Знаю, — твердо отвечал я. — Вот я и соединял ее с народом-то. Ведь до чего дело дошло: даже ихнего райкомовского «козла» по райцентру трактором таскали, не говоря уже про колхозы и совхозы. Зато после моего стихотворения улицы выложили деревянными чурками. Правда, ненадолго: вскоре и чурки эти в грязи утопли, и без фонарика ходить в школу все равно было невозможно.

— А зачем вы издевательски заявили на лекции по докладу Никиты Сергеевича Хрущева о том, что будто в вашем починке уже давно коммунизм, поскольку на всех баб одна юбка в район за чем-нибудь сходить?

— Ну, теперь-то у многих есть, слава богу.

Боец невидимого фронта еще полистал мое досье, о котором я, по правде сказать, и не подозревал, и спросил:

— А вот вождя товарища Ленина вы недавно облевали, это как?

— Да это парторг наш, Щелчков, сволочь. Сколькомы ему говорили со Славкой Головиным: не носи плодово-ягодное, а он все денег жалел.

— Поясните.

— Чего пояснять-то? Мы со Славкой с самого первого курса факультетскую газету рисовали в актовом зале на полу. Большая потому что газета-то, два метра на полтора. Он в одном углу мажет, а я в другом. А в этот раз ночью рисовали. У нас же выпускные экзамены, днем некогда, свои дела. Ну, шtbody не уснуть, Славка и попросил у Щелčkова водки бутылку, а тот, гад, плодово-ягодного принес и ливерную колбасу по 52 копейки. Правда, плодово-ягодного много принес: шесть бутылок. Ну, я малевал, малевал силосную башню да и уснул. А Славке-то надо было стащить меня за ноги с газеты-то, но он и сам уснул. Так вот и получилось. Мы же потом облеванное-то ватманом залепили.

— А вот это как понимать? — помахал перед моим носом листком из ученической тетрадки

боец невидимого фронта. — Надсмехался над героями Гражданской войны.

— Тут и понимать нечего: в шестом классе дело было. Мы разучивали песню:

*В степи под Херсоном
высокие травы,
В степи под Херсоном
курган.
Лежит под курганом,
Заросшем бурьяном,
Матрос Железняк — партизан.
Он шел на Одессу,
Но вышел к Херсону,
В засаду попался отряд,
Налево застава,
Махновцы направо,
И десять осталось гранат...*

— Поближе к делу. Покороче, — остановил меня боец невидимого фронта.

— Короче так короче. Я сидел за второй партой в простенке, где карта Союза развешана. Глянул на нее, а Херсон-то совсем в другой стороне. Так он пьяный был или чокнутый, этот Железняк? Ну и спросил учителя, а тот сразу к директору. Вызвали отца моего в школу, а тот сразу меня пороть: какое, говорит, твое собачье дело, куда он шел и куда вышел. Тебя петь заставляют, ну и пой, и нечего умничать.

Такое меня после этого зло взяло. Думаю, как же они войну-то выиграли, если один вместо Одессы в Херсон попадает, а другой, может быть, с Вятки на Кострому? Пошел в библиотеку, нашел книжку про Гражданскую войну, и оказалось, что в Одессе-то в это время целая белая армия стояла. Я опять к учителю: как же этот Железняк эту самую Одессу брать-то собирался с десятью гранатами? Тот опять к директору, директор к отцу, а тот опять меня пороть. Вот и все, если короче...

Гибель Варакши

Крепка оказалась советская власть. Крепка! Намного крепче даже нашего батюшки Абросима. Первым делом у него трактором

стащили все пять куполов с церкви, а потом взорвали ее на огромные глыбы.

Потом взялись за починки, хутора и деревни. Населенный пункт, по всем правилам военного искусства, ночью окружали энкавэдэшники, а утром якобы за налоги, не уплаченные со времен Стеньки Разина, отбирали у варакшенков все, вплоть до деревянных кадешек и недосохших в овинах снопов.

Нетронутыми остались только голожопники да чашобники, куда даже на тракторе каратели доехать не сумели. И бедные мои земляки бросились кто куда: кто в города, кто в леспромхозы, а кто в артель Оборону. О ней я вообще не хотел упоминать, но раз заикнулся, то расскажу. Эта нелегальная артель, о которой бойцы невидимого фронта даже и не подозревали, существовала за обабошными болотами на Кобыльей речке, в самой глухомани, и была как бы промышленной столицей Варакши, вроде американского Детройта.

У них была даже самодельная «локомотив» на дровах и опилках, на которой днем пилили штакетник, а ночью жгли электричество. Был также смолокурный заводик, на котором гнали смолу и деготь из бересты. Были еще грибоварня, цех моченой брусники, копчения рыбы и лосятины.

Руководил артелью мой дядюшка Егор. По первопутку вся изготовленная продукция дядюшкой куда-то сбывалась на лошадях и полуторке. На вырученные деньги он привозил продукты, одежду и все, что требовалось для автономного проживания. Перед праздниками вся Варакша тайными тропами стекалась в Оборону за сахаром, белой мукой и ситцем, потому что во всем остальном наши люди не нуждались...

В Обороне была даже деревянная церковь, в которую, правда, дядюшке не удалось залучить ни одного священника. Поэтому церковь для мужиков служила распивочной, а колокол звенел лишь при каких-нибудь стихийных бедствиях.

Всяких других подробностей я сообщать не намерен, поскольку, наряду с мужиками, бежавшими в артель от раскулачивания, белогвардейцами, дезертирами и всяким другим беспаспортным людом, у дядюшки работали и

такие ухари, которых, возможно, до сих пор разыскивает или милиция, или бойцы невидимого фронта.

Перед смертью дядюшке удалось легализовать Оборону. И зря. В нее тут же направили из района проштрафившегося начальника райтопа Крысана. И за три года с моим вторым дядюшкой Иваном они все пропили. И, когда нагрянула ревизия, в кассе обнаружилось лишь медные пятаки, а на складе резиновые сапоги 48-го размера да полмешка овса.

Судили их выездным судом, но так и не сумели осудить. Смягчающим обстоятельством послужило то, что они артель просто пропили, но лично не нажились. А у нас считается, што пропито и пр...но, то и в дело произведено. Суд шел целый месяц и до того был запутан мужиками, что прокурора то ли с инфарктом, то ли с инсультом вынесли из клуба на носилках...

Так Детройт пал от русской дешевой стали, а Оборона от русской дешевой водки под знаменитым брендом «березовый сучок».

И с тех пор опустела сторона Варакша. Теперь вы будете бродить по ней и неделю, и две, и три, и уж не встретите ни села, ни деревни, ни починка, ни одного живого человека. А пойдут навстречу еще до конца не заросшие полянки с желтыми буграми от размокших глинобитных печей, провалившиеся колодцы с жалобно поскрипывающими на ветру журавлями да домишки с прогнившими крышами. Изредка с шумом взмлет прямо из-под ног глухарь с теплого погребца или выйдет на дорогу лось и будет долго смотреть вам вслед. И я нисколько не удивлюсь, если в наших местах вскоре опять появится какой-нибудь капитан Копейкин или новый атаман Варакша и с отважным криком «Сарынь на кичку!» поведет ватагу на Вятку, Нижний Новгород или Кострому...

Батюшке Абросиму удалось все же загнать в Ветлуге остатки церковной утвари, и он отправился в Москву, мне на выручку, к бывшему нашему лесозаводчику. Тот сразу после революции поменял у мужиков все свои бумажные деньги на золотые, где-то их прикопал и явился прямо к Ленину, заявив тому, что он целиком и полностью поддержива-

ет советскую власть и передает ей безвозмездно все свое движимое и недвижимое. И товарищ Ленин проникся к нему таким уважением, что назначил чуть ли не наркомом лесной промышленности.

В результате этой поездки меня выпустили из тюрьмы через год как человека, по молодости оболваненного буржуазной пропагандой. Однако в академической справке так и остались суровые строки: «исключен за анти-советскую пропаганду». Хотя и теперь, когда я мог бы завоевать большое уважение за тот скелет у теперешних демократов, положила руку на сердце, в здравом уме и твердой памяти, утверждаю: не писал я ничего на его черепе, не вешал никаких табличек и не выставлял скелет 7 ноября на Октябрьском проспекте. Более того, заявляю: никогда и ничего не имел и не имею против советской власти. И считал бы ее самой справедливой властью на свете, если бы она навсегда избавилась от партийных дебилов, от идиотизма «бойцов невидимого фронта» да от «русской национальной идеи», которую еще много веков назад сформулировал хан Батый, поодиночке разгромив наших погрязших в распрях и зависти друг к другу князей: «Им русам хлеба не надо — они друг друга едят». Кстати, Советы придумали не Ленин и не Троцкий, а царь Николай Второй, и даже начал внедрять их в России. «Пламенные ре-

волюционеры» просто помешали ему сделать это по-русски, по-людски.

Батюшка Абросим посоветовал мне спрятать подальше крамольную справку, окончить другой факультет в другом городе и, благословив меня на прощанье, скрылся навсегда в неизвестном направлении. А я, выполнив его наказ, рванул на Север, надеясь навсегда скрыться там от «бойцов невидимого фронта», в твердом убеждении, что подъем сельского хозяйства вопрос не более трех-четырех лет, если по-настоящему заняться хозрасчетом.

□

Николай Александрович СМИРНОВ

родился в 1941 году

в Починке Петропавловский Кировской области.

Ветврач, зооинженер.

Работал по специальности на Севере, Урале, в Подмоскowie.

*Автор сборника рассказов «Ветлугаев бор»,
сборника повестей «Живица», романа-памяти «Сталиногорцы».*

Печатался в журнале «Наш современник».

Лауреат премии «Левша» за 2009 год за 5 рассказов из «Варакши».

Член Союза писателей СССР и России.

В журнале «Север» публикуется впервые.

